

Е. Л. ГРЕЧАНИКОВА  
(г. Гомель, ГГУ имени Ф. Скорины)

**СПЕЦИФИКА ВОЕННОЙ ПРОЗЫ 1980-х годов:  
К ВОПРОСУ О ПРИОРИТЕТНЫХ АСПЕКТАХ  
(НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ В. АСТАФЬЕВА “ПАСТУХ И ПАСТУШКА”)**

Объектом данного исследования стала повесть В. Астафьева “Пастух и пастушка”. Повесть была задумана автором в 1967 году, впервые опубликована в журнале “Наш современник” (№ 8, 1971 г.), однако в прошедшем цензуре варианте, а в 1989 году появляется конечный авторский вариант, значительно, на наш взгляд, отличающийся от текста почти двадцатилетней давности. Попытка выявить и систематизировать преобразования, коснувшиеся текста в 1980-е гг., а также установить влияние на данные преобразования социокультурной ситуации 1980-х гг., – и является предметом исследования в данной статье.

Повесть В. Астафьева “Пастух и пастушка” прошла долгий путь от авторской задумки в 1967 г. до публикации конечного, без цензурных правок, варианта в 1989 г. Предметом исследования в данной статье явились внесённые автором в 1980-е гг. изменения и дополнения, расширившие и идейно трансформировавшие ранее известный вариант повести. Рассмотрим некоторые из них.

**Дегероизация хронотопа войны.** Часть первая – “Бой” – начинается с эпиграфа: ““Есть упоение в бою!” – какие красивые и устарелые слова!.. *Из разговора, услышанного на войне*” [1, с. 195]. С данных строк начинается процесс формирования авторского отношения к войне как к явлению действительности и как к философской проблеме. Понятие **героизма** в тексте приобретает негативную коннотацию: он, как правило, относителен и, в той или иной степени, подразумевает принесённую в жертву жизнь: “Героизм! Подвиги! Безумству храбрых поём мы песню!.. Не довольно ли безумства-то? Где граница между подвигом и преступлением? Где?! Вон они, герои великой Германии... Кто они? Герои? Подвижники? Переустроители жизни? Благодетели человечества? Или вот открыватели Америк. Кто они? Бесстрашные мореплаватели? Первопроходцы? Обрато благодетели? Но эти благодетели на пути к подвигам и благам замордовали, истребили целые народы на своём героическом пути... Уже ... десятками миллионов человечество расплачивается за стремление к свободе, к свету, к просвещённому разуму!” (монолог Корнея Ланцова) [1, с. 220–221].

В. Астафьев **лишает стереотипной романтизации** пространство войны, используя натуралистические описания в импрессионистической манере. Бой характеризуется как “адово столпотворение” [1, с. 198], импрессионистично представлены детали (“лоскутья боя” [1, с. 197]), как будто отражённые в глазах непосредственного участника событий: “людское месиво”, “тёмная масса из людей”, “рёв, стрельба, матюки, крик раненых” [1, с. 197], “дым, рёв, визг осколков, звериное рычание людей” [1, с. 199]. Намеренно натуралистические описания также демонстрируют неизбежную **на войне утрату сакральности человеческого тела и жизни**: “...повытаскивали из траншеи и другие трупы, соорудили из них бруствер – защиту от ветра и снега...” [1, с. 204] (об использовании трупов солдат в качестве бруствера в раннем варианте повести, разумеется, ни слова). Примечательно, что именно немецкий ординарец, оставшийся при застрелившемся командире, произносит фразу: “Мёртвые не имеют защиты!” [1, с. 243]. В ранней редакции данная фраза также отсутствует.

В образах пожилых пулемётчиков Карышева и Малышева романтизированному дискурсу войны противостоит бытовое восприятие – **“война как работа”**: “Воевали алтайцы, как работали, без суеты и злобы” [1, с. 217]. “Тут всякий солдат себе стратег”, – появляется в не

сокращённом цензурой варианте повести [1, с. 235]. В. Астафьев приводит воспоминания Бориса Костяева, которого поначалу оскорбляло бытовое, “непафосное” отношение солдат: “Враг топчет нашу священную землю, а они, понимаешь!” [1, с. 235]; его “За мной! Ур-ра” никто не поддерживал: “Помчался и отчего-то не услышал за собой героических возгласов, грозного топота” [1, с. 236]. Со временем Борис понимает, что искусство воевать – это, прежде всего, умение балансировать между “Не горячись!” и “Дальше уж оставаться в окопе... подло” [1, с. 236–237].

Дегероизация хронотопа войны также обнаруживается в ироничных высказываниях, отделяющих романтические стереотипы от “окопной правды”: “Санитары и медсёстры, большей частью кучерявые девицы, шибко много лазят по полю боя в кинокартинах, и раненых из-под огня волокут на себе, невзирая на мужичий вес, да ещё и с песней. Но тут не кино” [1, с. 238]; “Удивляясь на самого себя, поражённый словами “бился до конца”, “заражал своим примером”, – солдат совершенно уверует, что так оно и было” [1, с. 239]; “Здесь показывали кино на простыне, прикреплённой к стволам сосен. ... Зрители чисто-сердечно радовались успехам киношного вояки. Сами они находились на совсем другой войне” [1, с. 258].

В варианте повести 1989 г. также появляется **христианская** (уточним: а также толстовская и пацифистская) идея отрицания любой войны как неоправданного насилия. Так, например, Л. Толстой в статье “Патриотизм или мир?” отрицает саму возможность войны быть правомерной, освободительной, священной: “Каким образом может тот патриотизм, от которого происходят неисчислимы как физические, так и нравственные страдания людей, – быть нужным и быть добродетелью?” [2]. В “Пастухе и пастушке” одним из главных выразителей пацифистских настроений является Корней Аркадьевич Ланцов: “Эта война должна быть последней... Одна истина свята на земле: материнство и труд хлебопашца...” [1, с. 58]. Христианская гуманистическая идея усиливается в четвёртой части поздней редакции повести (“Успение”). “Я ученье Христа имел в виду, учение, по которому все люди – братья”, – говорит Корней Ланцов, но его не хотят слушать [1, с. 295].

**Война как абсурд.** Традиционно хронотоп войны рассматривается в литературе как экзистенциальная, т. е. “пограничная” ситуация. В идеологизированной военной прозе предшествующих десятилетий “пограничная” ситуация, как правило, позволяет проявить наилучшие резервы человеческой души. Проза 1980-х гг. чаще демонстрирует деструктивное влияние войны на человека: она лишает человека свободы выбора, даёт знание, преумножающее скорбь (что также можно рассматривать в рамках экзистенциальной философии, появившейся как реакция на мировые войны, преобразующие картину мира из космоса в хаос и заставляющие задуматься о смысле бытия в бессмысленном и абсурдном мире). Один из аспектов экзистенциальной мысли – вопрос о свободе человека. Н. Бердяев отмечает: “человеческая личность есть свобода и независимость по отношению к природе, обществу, государству, поскольку она не детерминирована ничем, даже Богом” [3, с. 149], поэтому “никто не может вторгаться в этот универсум без дозволения самой личности. Человек как личность имеет гораздо большую ценность, чем нация, государство, а поэтому у него есть право и долг защищать свою духовную свободу и независимость от них” [3, с. 144]. В “Мыслях о природе войны” философ утверждает: “Всё принуждающее и насилующее есть ложно направленная свобода” [4, с. 286–287]. В повести “Пастух и пастушка” пространство войны предполагает минимум экзистенциальной свободы: “Человек свободен в выборе смерти. Может быть, только в этом и свободен...” [1, с. 247]. Довольно показателен эпизод: немецкий генерал не оставил своих солдат, не сбежал с остальными, а предпочёл застрелиться. Насколько этот поступок демонстрирует свободу воли? В. Астафьев акцентирует внимание на том, что, оставшись в выборе смерти свободной личностью, генерал, однако, лишил права выбора подчинённых ему солдат: “Почему не принял капитуляцию? ... Что руководило им? Почему он не застрелился раньше? ... И кто он такой, чтобы решать за

людей – жить им или умирать?” [1, с. 247].

Таким образом, с одной стороны, война – “пограничная ситуация”, позволяющая человеку совершить свободный выбор. Например, Мохнаков, понимая неизбежность смерти от сифилиса, решает принести пользу: вполне осознанно припасает противотанковую мину, ждёт подходящего момента и бросается под вражеский танк. С другой же стороны, в повести неоднократно подчёркивается **несвобода человека**, невозможность отдельной личности отстраниться от общей цели (а ведь возможность отстранения – одно из условий детерминации бытия личности). Борис Костяев в первой части повести (“Бой”) испытывает стыд из-за того, что рад на несколько часов уйти в штаб от прямой угрозы смерти: “И стыдись скрытой радости оттого, что он уходит отсюда ...” [1, с. 207], хотя человек, вопреки всем высоким идеям гражданственности, не должен желать себе смерти. Трагизм хронотопа войны, в котором человек не принадлежит себе, не имеет права на личное пространство, – проявляется и в любовной линии повести. “Прости... Я забыла про войну” [1, с. 268], – говорит влюблённая Люся Борису. Молодые люди осознают, что рассвет для них равен разлуке, и радуются темноте: наступившее утро вернёт приоритет выполнению долга перед обществом.

Автор акцентирует внимание на том, что в пространстве войны **утрачивается витальная мотивация**: зачастую смерть становится более желанной альтернативой (на глазах главного героя происходит убийство парализованного немецкого солдата). Эта война ничему не научит, не станет последним трагическим опытом человечества – следовательно, бессмысленно продолжать жизнь в мире абсурда. В. Астафьев включает в поздний вариант повести подчёркнуто романтизированный эпизод встречи Бориса и Любы, неожиданно завершая его фразой: “Ничего этого не было и быть не могло” [1, с. 293]. Автор трансформирует жанр пасторали в “современную пастораль” с новыми “законами жанра”: пастух и пастушка мертвы, а влюблённые никогда не встретятся. “О боже, есть ли предел человеческого безумия?!”, – в сердцах восклицает русский майор [1, с. 244]. “Псих! И я псих... Кругом психи...”, – говорит Люся [1, с. 271]. “Так выбросьте меня... на помойку”, – безразлично произносит Борис [1, с. 308]. Космос трансформируется в хаос, детерминация бытия утрачивается. В рамках данной концепции смерть главного героя “от лёгкого ранения” менее всего мотивирована с медицинской точки зрения – и тем более оправдана с точки зрения **утраты смысла жизни**. В раннем варианте повести тело взводного оставляют на одной из станций, кроме того, няня Арина контролирует, чтобы он был похоронен подобающим образом. В 1980-е гг. В. Астафьев включает в текст натуралистичный фрагмент с альтернативным вариантом погребения Бориса Костяева: “его подкинули, нечаянно забыли” в отцепленном вагоне санпоезда, “завалили начавший разлагаться труп на багажную тележку, увезли за полустанок и сбросили в неглубоко вырытую ямку” [1, с. 316–317].

В редакции повести 1989 г. подчёркнуто снят традиционный для ряда текстов военной тематики предыдущих десятилетий **конфликт “свои – чужие”**, демонстрируется равнозначная абсурдность войны для русских и немецких солдат: «И свои, и чужеземные солдаты попадали влѣжку, жались друг к другу, заталкивали головы в снег, срывая ногти, пособачьи рыли руками мѣрзлую землю” [1, с. 200], “И чьи-то жизни ломало, уродовало в отдалении” [1, с. 201], “И лежали раненые вповалку – и наши, и чужаки...” [1, с. 250], “В корыте смешалась и загустела брусничным киселѣм кровь раненых людей, своих и чужих. Вся она была красная, вся текла из ран, из человеческих тел с болью...” [1, с. 250–251]. Данные фрагменты отсутствуют в редакции 1970-х гг.

**Критика сталинизма и государственной системы.** Наиболее очевидны изменения в варианте повести 1989 г. там, где речь идёт о критике сталинизма и проблеме произвола личности над массами. В. Шаламов в эссе “О прозе” высказал мысль: “Во время войны тиран сближается с народом” [5, с. 219]. Напротив, В. Астафьев подчёркивает, что война есть

произвол тирана и что это вполне осознаётся жертвами войны. Автор включает в повесть ряд реплик: “Немцам выдавали кривые связистские ножи, заземлители, кусачки и прочий набор. Наши всё это заменяли руками, зубами и мужицкой смекалкой” [1, с. 203], “...чтобы уверен был, что не выгонит их во чистое поле замерзать, погибать в муках новый Наполеон, Гитлер, а то и свой доморощенный бог с бородкой иудея иль с усами джигита, ни разу не садившегося на коня...” [1, с. 221]. В последнем фрагменте находит отражение одна из тенденций 1980-х гг.: Гитлер и Сталин как равнозначные авторитарные фигуры, несущие основной груз вины за произошедшее. В варианте повести 1989 г. возникает сочувственная фраза русского майора: “...мешок железных крестов прислал фюрер погибающим солдатам” [1, с. 244], – в военной прозе 1980-е гг. цензура уже позволяет сочувствовать немецким солдатам: некоторые из них такие же жертвы чужой воли. Подобную мысль находим у Н. Бердяева (который, кстати, в отличие от толстовцев, полагал пацифизм ложью) в “Мыслях о природе войны”: “Стреляющий и колющий солдат менее ответственен за убийство чем тот, в ком есть руководящая воля к победе над врагом...” [4, с. 292].

**“Прогресс есть зло”.** В литературе 1980-х гг., развивающейся в “наэлектризованной” “холодной войной” социокультурной ситуации, прослеживается ещё одна характерная тенденция: критика прогресса как такового, в т. ч. научно-технического, поскольку прогресс напрямую связан с жертвами как необходимым “побочным эффектом” (ср., например, публицистические тексты А. Адамовича 1980-х гг. и т. п.). В варианте 1989 г. появляется реплика Ланцова: “Коварство умствующих ублюдков! Я готов жить в пещере, жрать сырое мясо..., но чтоб спокоен был за себя, за судьбу племени своего, собратьев своих и детей...” [1, с. 221]. Подзаголовок повести – “Современная пастораль” – также формирует негативную коннотацию понятия “прогресс”: в отличие от идеализированной модели мирного прошлого, XX век сталкивает человека с миром абсурда и лишает витальной мотивации.

#### Список литературы

- 1 Астафьев, В. Пастух и пастушка / В. Астафьев // Так хочется жить / В. Астафьев. – М. : “Кн. палата”, 1996. – С. 194–318.
- 2 Толстой, Л. Патриотизм или мир? [Электронный ресурс] / Л. Толстой. – Режим доступа: <http://philosophy.ru/library/tolstoy/tol1.html>
- 3 Философия XX века. Учебное пособие. – М. : ЦИНО общества “Знание” России, 1997. – 288 с.
- 4 Бердяев, Н. Мысли о природе войны / Н. Бердяев // Русские философы о войне: Ф. М. Достоевский, Вл. Соловьев, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Е. Н. Трубецкой, С. Л. Франк, В. Ф. Эрн. – М.; Жуковский : Кучково поле, 2005. – С. 248–295.
- 5 Шаламов, В. О прозе / В. Шаламов // Собрание сочинений. Том 4. – М. : “ВАГРИУС”, 1998. – С. 211–219.

УДК 811.161.3’282:821.161.3:882.6

М. У. КАНЦАВАЯ

(Мазыр, УА МДПУ імя І. П. Шамякіна)

#### РЭГІЯНАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ МОВЫ РАМАНАЎ “ПАЛЕСКАЙ ХРОНІКІ” ІВАНА МЕЛЕЖА

У артыкуле разглядаюцца айконімы, дыялектызмы, прыказкі з раманаў “Палескай хронікі” І. Мележа, якія адыгрываюць значную ролю ў адлюстраванні рэгіянальнага каларыту радзімы пісьменніка – Усходняга Палесся.

І. Мележ у раманах “Палескай хронікі” перадаў мясцовы каларыт пры дапамозе тыпо-